

Бывает и так: долго собираешься в гости к дорожному тебе писателю, готовишься душой, заранее складываешь вопросы, которые надо будет задать, а вот приехал... и всё как-то разом пошло вбок: то занят писатель, то нездоров, то просто душа у него не на месте,—и вот уже пора уезжать, и ты, перебирая скудные сокровища (что-то спросил, что-то заметил—но как мало!), с тоской думаешь, как всё это сложить во внятное целое, как поговорить с читателем полно и существенно, потому что ему нет дела до недостаточной собранности писателя или неопытности интервьюера. Поэтому я и отложил тогда это сочинение в надежде, что съезжу ещё раз и всё пригодится. А там и забыл, потому что другие приезды были полны другим. А теперь вот нашёл, и, оказывается, всё живо и дорого, потому что невозвратно.

Сколько я ждал этой поездки к Виктору Петровичу! Как давно был готов к ней! И вот вернулся, слушаю магнитофонные записи, читаю выписки, вспоминаю беседы и растерянно не нахожу в них желанной последовательной стройности. Всё необязательно, обыкновенно, да ещё нет-нет и покажется, что искал ответа, а наткнулся на встречный вопрос.

Я перечитал собравшиеся у меня за несколько лет знакомства письма Виктора Петровича, внимательно поглядел недавно изданный «Современником» «Посох памяти» (книгу критики и публицистики) и вдруг с неловкостью и отрадой понял, что всеми обмолвками, побочными замечаниями, мимолётностями Астафьев только подтверждал уже сто раз написанное и сказанное, что ему вовсе не надо было снова формулировать для меня те истины, которые я, читавший его книги и письма, должен был знать. И подтверждал не тщательно подготовленными суждениями, а простым бытом своим и поведением. Я же искал не того и не там, потому что привык к первичной словесности поведения писателя, к слову до поступка, а часто и вместо поступка, на что многие, увы, так способны (навверное, читатель

в таких случаях бессознательно догадывается о необеспеченности слова поведением, иначе как объяснить, что столько умных книг, каждой из которых достало бы преобразовать весь духовный состав читающего человека, так мало подвинули нас в сторону совершенства?).

Я застал писателя в обыденный час его жизни, и сейчас мне кажется, что надо только верно записать вот этот будничнейший день, чтобы увидеть, как живёт душа писателя в свой обычный, не видный читателю час.

Бабочки-боярышницы летели, как великолепный снег, несуетливым, почти утомлённым полётом. Весь откос над Енисеем рябил ими, и воздух казался легче и светлее от этой праздничной белизны. Они сверкали в траве и на кустах, словно всё разом зацвело бабочками. Это было очень красиво. Я хотел сказать об этом только что вошедшему Виктору Петровичу, но он опередил меня:

— Вот новое бедствие для края. Бабочка, зараза, навалилась, жрёт все подряд без разбору. Видно, с жарой окуклились раньше, вот учёные и не успели предупредить. У нас в Овсянке уже всё, что цветёт, поела, того гляди за листву примется. Что за напасть? То шелкопряд несколько лет назад душил, теперь вот бабочки!..

Вечером по телевизору смотрели выступление Михаила Ульянова в останкинской концертной студии. Едва я выходил на кухню поставить чайник или принести посуду, Виктор Петрович начинал возиться в кресле, и видно было, что молчаливо досадовал на моё хождение не потому, что оно ему мешало, а потому, что каждое слово артиста казалось ему хорошим, умным, существенным, и было непонятно, как тут можно ходить-выходить. — Как читает! Как читает! А говорит как! Если бы мы не были дружны и я не знал, что он из Сибири, всё равно бы узнал земляка. Вот по этой злой прямоте и узнал бы. Не вертится, не темнит, рубит как есть, потому что ему скрывать нечего. Настоящий художник—он обязательно и гражданин настоящий, и потому правды не боится, что она в нём болит, а не так, как эти (не сказал кто)—всё норовят из-за угла укусить, будто их вины нет и они тут присяжные...

Тема гражданственности вообще остро тревожит его. Целый день я читал в деревне его «Зрячий посох» — рукопись будущей книги о критике А. Н. Макарове — и не мог удержаться, чтобы не выписать внезапно вспыхивающие в тексте отступления во всей их запальчивости и горечи, которая, может быть, отстоит и выльется со временем в другие формы, спокойные и твёрдые, но пока живёт с человечески доверчивой открытостью.

«... Мне кажется, что, пока людям не до гражданственности в литературе, самораспространение среди молодёжи, сплошь грамотной и часто с вузовским образованием, ритмически и мелодически бедных танцев и песен, охотно потребляемого читав с элементами секса и насилия чем дальше, тем вернее подкрепляет это умозаключение...

Смех смехом, но берусь утверждать, что с появлением пусть относительного достатка обнаружались в нас и уродливые, нездоровые, дремавшие, а нам казалось — отмершие, черты: зависть, нахрапистость, жадность. „Когда мы были бедны — жили дружнее“, — эта недавно родившаяся поговорка может быть твердо записана в сборники современного фольклора...

... Да, учился, хоть недолго и худо, но учился и запомнил слова: друг, товарищ, гражданин, сам погибай, а товарища выручай, раздели каждую крошку, спаси погибающего. А посмотрели бы хоть раз пристально сами на себя те, кто на собственных „Жигулях“ катит к родичам в деревню на выходной или на „лоно природы“. Боже мой! Ради этой машины наши — наши! — люди могут перекусить горло друг другу...

„Вам предстоит самое главное и, быть, может, самое тяжкое испытание — испытание вещами“, — говорит один из героев бондаревского «Берега». Ох, плохо, некрасиво, бывает, выдерживаем мы это испытание.

Принесли почту. Долго разбирает, смотрит письма, мрачнеет, подает одно: — Почитай!

Письмо анонимное, горькое. Молодая женщина прямо со школьной скамьи воспитывает ребёнка одна и уже ни во что не верит, а книги читает — как сны смотрит: красивые, но несбыточные.

— Вот кого всегда бывает особенно жалко — этих не успевших ничего понять девок: сразу в бабы. Это потом в характере сказывается и какая-то червоточина дальше идет. Но и сами они тоже хороши — как-то нороват скорее прожить, скорее всё узнать и так обычно мимо себя пробегают, а потом корят всех подряд, и плачут, и детей своих мучают... А ещё хуже — эти крайности женского «интеллектуализма»: детей рожать не хочет, стирать и готовить не хочет, а только соперничать с мужиком в толковании мистических книжек да сыпать именами одно краше другого. Хуже всякой

безродности, потому что не по-русски, не по-людски. Но вообще письма бывают замечательные. Целые истории. Напиши — не поверят. Пять-шесть страниц — и вся жизнь! Вот у кого надо учиться писать — всё время говорю я себе и молодым на семинарах!..

Ходили на Ману — красивую быструю реку, впадающую в Енисей. Здесь режиссёр Б. Мансуров снимал киновариант по его повести «Перевал». Ещё горели на склонах саранки — цветы редкой изысканной красоты, за что, видно, и тащат их красноярские и дивногорские бабы на базар по полтора рубля за букетик. Виктор Петрович нашёл в тени небольшой стародуб (их пора уже отошла), чтобы я имел представление об этом цветке, давшем название первой его повести. Он называл цветы один за другим, и ему нравилось называть их.

— А половину уж и забыл. Во всех нас природа вот так отмирает, съедается плохой памятью. Даже в «деревенских» писателях. Мы как-то сидели в Вологде на реке с товарищами, хвалились друг перед дружкой знаниями деревни, поругивали забывчивых. А я и говорю: вот мы сейчас и проверим, какие мы знатоки. Взял да накрыл ладонью клочок лужайки. Вот, говорю, подыму сейчас ладонь, а вы скажите, что под ней за трава окажется. Один назвал два вида, другой три. Я от силы четыре наскрёб, а там была тьма разных разностей. При этом я сейчас в ботанические атласы заглядываю, оживляю память, а в детстве без атласов знал и легко в голове держал гораздо больше. Теперь такое знание уже и в деревне редко...

В смешанном деревенском магазине, где соседствуют пальто, косы и книги, купили вышедший в «Детской литературе» томик Исикавы Такубоку. Виктор Петрович долго заглядывался в лицо поэта, смотрел биографию, листал книгу.

— Тоже помер в двадцать семь лет. Не держатся долго на земле такие души. А смотри-ка, что пишет. Будто про нашу Овсянку:

Поля продают,  
Дома продают,  
Пьют вино беспробудно...  
Так гибнут люди в деревне моей.  
Что же сердце тянется к ним?

И правда ведь — тянется. Озлишься, видеть никого не хочешь, а задумаешься — нет ничего дороже. А это-то, это как хорошо! Как вчера написано:

Всерьёз уверена  
Дочка моя,  
Что люди только затем и пишут,  
Чтоб рукопись  
Отправить в печать.

Ох, права эта дочка — теперь, состоя членом разных коллегий и советов, часто вижу, что именно

затем и пишут, чтобы скорее в печать, и самолюбие летит впереди дела, и себя любят так, что ни на что другое любви уже не остаётся. И пишут, особенно молодые, гладко, ловко, с какой-то даже «вумной» афористичностью, которая с налёту может и умом показаться. И всё так бойко, задорно, даже как будто дерзко, а отряхнёшь маленько эту пыльцу да внутрь поглядишь, а там и нет ничего. И жалко читателя, который будет потом наткаться на этих литературных мертвецов. А читатель у нас доверчивый. Я вот ездил в Игарку на юбилей города и оттуда наведалься на рыбалку в те места, где у меня «зимовали» Эля с Акимом из «Царь-рыбы». И пилот, который вёз меня на вертолёте, и мужики тамошние совершенно уверены, что так оно и было, что я чуть не третьим спал с ними в мешке. Смешная, но и святая вера в литературу! И как мы злоупотребляем этим доверием! А ведь нам надо быть пророками и проповедниками — никто нас от этой обязанности не освобождал, и скромником тут не прикинешься — спрос всегда в России был с художника страшный, ему за каждого героя надо как на духу отвечать. . .

В Красноярске в эти дни гастролировал московский театр «Современник». Виктор Петрович смотрел «Балалайкина и Ко», потом «Провинциальные анекдоты», смеялся и потом отдельные фразы ещё повторял дома, и опять они нравились ему, и он смеялся снова и снова, как будто впервые услышал, и дивился точности актёрского понимания оттенков характера вампиловских озорников.

И актёры платили ему ответной любовью. То он ходил к ним поговорить, то они заходили, и это было как-то очень нужно обеим сторонам. И такое общение будило что-то очень существенное. Наверное, естественно, что после одного такого домашнего вечера мы заговорили с Виктором Петровичем о «Пастухе и пастушке», так пока и стоящей особняком в его творчестве и не дающей покоя его читателям.

— Я мало объяснил, когда писал, что росток этой повести пробился во мне после «Манон Леско» аббата Прево.

— Странно, как легла вам на слух эта кружевная и почти уж парфюмерная на сегодняшний вкус книга.

— Ну это смотря на чей вкус! Я недавно снова её прочитал, и она опять показалась мне прекрасной. Я ведь ушёл на войну, так и не узнав любви. Молод был. Робок. Парнишкой ходил по лесу, сочинял процесс, разговаривал с ними. А в войну уж и совсем было не до этого. Тянул переписку с одной землячкой, но больше для порядку, чем от чувства. Может быть, поэтому меня так задела «Манон» и потому так хотелось, чтобы хоть моих героев не обошло то, чего сам в их пору не знал. Так и написались и «Звездопад», и «Пастушка». Теперь я знаю, что в них больше от меня, чем думалось,

когда писал, что если и удались они, то потому, что я выкормил их своим сердцем, будто надеялся, что ими можно восстановить пробел в своём юношеском развитии. И, может быть, потому, что сам я не знал тогда всей силы любви, позволил Борису Костяеву в «Пастушке» умереть, сойти на нет. А тут, как меня самого смерть понавещала, понял, что, может быть, ему и надо было побороться, потому что власть жизни — всё-таки власть огромная, притягательная. Хотя, может быть, он прав, предпочтя смерть повреждённой войной жизни. . .

Приходили соседские мужики. Два дня назад местные парни затеяли драку с сибирским размахом — ножи в ход пошли. Сын полоснул разнимавшего отца. Теперь обоим неловко. Отец печально глядит васильковыми, редкой, какой-то сугубо деревенской синевы, глазами и не знает, как выгородить сына перед Астафьевым.

— Дядь Вить (уже сам мужик, а для него Виктор Петрович всё «дядя Витя»). И многие в деревне его так зовут), ну что тут сделаешь? В субботу и воскресенье парни сами не свои. Пьют, деть себя некуда, вот и заводятся. А так, ведь вы их знаете, ребята хорошие.

— Хорошие, пока спят. . . Силу некуда девать. На работе мало расходуют. Вон на Фокинской речке лесник скамью рубил, старался, чтобы мог отдохнуть человек по дороге из лесу, а они её враз скovyрнули. И ведь просто так скovyрнули, от скуки. А матери ведро воды принести некогда. . . У нас вон в Красноярске даже железные грибы на детских площадках пошибали. Силы хватает, зла тоже. Оттого и человеческую жизнь ценят мало. Тебя вот только задела, а могли и убить. Перед войной тоже такое бывало.

И уже на следующий день, вдруг вспомнив вчерашнее:

— Да, бесятся ребята, не знают куда себя деть. Я и сам иногда сяду, считаю. Красноярск — миллионный город. Театров вроде хватает. Но всё равно ведь в них в лучшем случае тысяч десять сидит, ну ещё в кино — тысяч двадцать (да с десятков в ресторанах получше). А остальные-то как? К телевизору? Это хуже одиночества!.. Значит, на улицу? Да и в театрах ли дело? Вон Михаил Александрович Ульянов как-то сказал мне, что в Москве живёт восемь миллионов одиноких людей. Это его доподлинные слова. Я аж притих тогда и ужался в себя. А потом думал и додумался: да ведь и во всём-то мире страшное одиночество! «Век двадцатый, век необычайный» разъединил вовсе людей, хотя ожидалось наоборот. Теперь уж «деревенская глушь» нам, оглушённым рёвом и грохотом цивилизации, кажется не простым тихим раем, но и средоточием людским, где общаться полегче, где мы на виду друг у друга и друг перед другом открыты.

22 июня показывали с площади Белорусского вокзала репортаж к сорокалетию песни «Священная война». Виктор Петрович смотрел хронику, каменя лицом, и видно было, как дороги ему все, кто пел на площади эту песню вместе с ансамблем Александрова. Мысли были далеко.

— Я хорошо помню, как сам услышал эту песню первый раз. Мы ещё зелёные были, в запасном полку, а возвращалась со стрельб маршевая рота, уже слитая, цельная, одно тело, несмотря на то, что солдаты, наверно, устали. Песню издалика наносило морозом и перехватывало ветром и стужей. И хотя я уже знал её всю, а тут как-то разом прошло по сердцу, что идёт война, что дело это тяжёлое и что впереди будет тяжелее...

Потом он рассказывал сюжет за сюжетом из будущего своего романа о войне. Эпизоды теснили друг друга. Герои уже жили своими жизнями, их легко было узнать и по оттенкам речи; роман, видно, давно растёт и просится в запись. Смерть в этих сюжетах не останавливалась с войной, а будто разогнавшись, доламывала жизни уже в конце сороковых годов, калеча солдатские судьбы одну за другой.

Вечером мы выходили к Енисею, сидели на брёвнах, вынесенных сплавом, подолгу смотрели на реку, на тот берег. К сумеркам начинало тянуть от воды туманом, наносило погребом, потому что вода теперь и в жару выше десяти градусов не нагревается.

— Пошли. Это не по мне.

— А что же переехали? Как вам тут?

— Ну, это только к вечеру тут так. А вообще климат сухой. Как раз для моих лёгких. Но главное-то, конечно, не в этом. Я там, в Вологде, а особенно в деревне Сибле, где лето и осень жил, такое иногда сиротство чувствовал, что хоть кричи. А тут что же... Тут и одиночество другое. Родня вся тут. Сразу чувствуешь, как корни по земле бегут. Все наши беды отсюда начинаются — с отрыва от родных корней, когда с тебя спросит некому и помочь тебе некому. Отсюда и одиночество, и безытность, и сексуальная развязность вместо любви, потому что ты вроде на пустыре растёшь и сам себе голова. А здесь и могилы близких рядом, и живая родня вся под боком — тут себя не забудешь.

Теперь, когда я вспоминаю эти обычные дни в Красноярске и в деревне Овсянке, я понемногу догадываюсь, почему Астафьев так родственно понимается самыми разными людьми и с одинаковой уважительностью читается молодыми и старыми, крестьянами и учёными, — в нём совершенно

тождественны человек и писатель, между тем как у некоторых нынешних сочинителей постоянно ошутим зазор между этими началами, словно проповедуют они одно, а исповедуют другое. Его слово равно поступку, потому что слово значит именно то, что значит, в творчестве Астафьева нет скрытности, двойного толкования. Он без уклончивости смотрит на жизнь и, кажется, давно понимает следом за Пушкиным, что мыслить и страдать для русского художника — понятие синонимическое.

Это редкий случай органической жизни писателя, и потому творческий его путь здорово последователен и, при всей жёсткой прямоте, полон надежды и живой силы. Он уверен, что обыденной жизни есть что сказать разуму, и легко находит героев, если не для романа, то для «затесей» (любимый им жанр короткого рассказа, эскиза, моментального снимка реальности), в каждой деревне, куда бы ни заносила его судьба, и сразу видит за героем судьбу целой России.

А закончить мне хочется его маленькой «затесью» «Какое сырое утро», в которой лучше всего видны его будничные, обыкновеннейшие, но полные мужества художественные и житейские обязательств:

«За окном мутно. Каплет с крыши. Каплет с черёмух. Окна залеплены серым снегом... Он медленно сползает по стеклу, лепится к рамам, набухает...

Как болят кости! Ах, как болят кости! Но надо вставать. Надо вставать и работать.

Наступило утро. Все люди работают. И мне тоже надо работать.

Но как болят кости! И старые раны болят.

Полежу ещё маленько, чуть-чуть...

Я ведь заработал право полежать?

Но мало ли кто и чего заработал! Кто подсчитывал? Надо вставать. Вставать! Вставать!..

Всё то же сырое утро, нет, уже день, мутный, промозглый, родившийся из моряка и стыни. Всё так же каплет с черёмух. Мимо окон проехал дядя Фёдор на мокрой лошади к ферме — он везёт вонючий силос.

Я вожу ручкой по бумаге. И дяде Феде, и лошади, и мне не хочется работать.

Но бегут строки всё быстрее, быстрее, и мимо окна бежит лошадь с пустыми саними. Бежит, фыркает — разогрелась.

Может быть, завтра наступит ясное утро и перестанут болеть кости. Да и сейчас они уже глуше болят».